

Карой Кереньи. «Мифология»

КЕРЕНЬИ К. МИФОЛОГИЯ / ПЕР. С ВЕНГ. Ю. ГУСЕВА, О. ВОЛОДАРСКОЙ, И. САМОШКИНА, Н. ЯКУБОВОЙ. М.: ТРИ КВАДРАТА, 2012. 504 С. (СЕРИЯ «BIBLIOTHECA HUNGARICA», ВЫП. 9.) ISBN 9785946071505

*Александр Марков**

Аннотация. Избранные труды К. Кереньи позволяют лучше понять критику романтической культуры чувственности в XX веке и влияние этой критики на развитие социологии повседневности.

Ключевые слова. История гуманитарных наук, Карой Кереньи, романтизм, социальные эффекты знания.

Собрание важнейших статей Кароя Кереньи (1897–1973) — это своего рода подробный рассказ о том, как привычная нам культура вписывалась в другую, менее известную для нас, но порой неизвестное и может парадоксальным образом объяснить нам известное. Долгое время великий венгерский историк мифологии оставался в тени как романтического исследования мифологии Мирчи Элиаде, так и структуралистских построений Клода Леви-Стросса, позволяющих перекодировать и наше собственное отношение к мифологии, находя творческий импульс в фатально отделенной от нас первобытной обыденности.

Противопоставлять эти подходы методу Кереньи можно по одному основанию: Кереньи не трактует мифологию как внеисторическое явление, как машину для уничтожения истории или как плоскость внеисторического действия, но всякий раз специфицирует исторические эффекты мифологического мышления. Кереньи — не просто живущий в истории исследователь мифологии, исследующий «историческое продолжение» готовых мифологических сюжетов, в каждой статье он вскрывает прямо противоположное: мифологический сюжет внутри исторического времени «не готов». То, что казалось достроенным и поучительным в своей достроенности, оказывается в который раз недостроенным.

По сути дела, Кереньи отстаивает концепцию сотворчества как основы бытования мифологии в обществе: чтобы миф начал вновь действовать, стал нашим живым бытием, он должен прямо здесь и сейчас привлечь к себе повышенное внимание. В этом и заключается научный интерес избранных статей Кереньи для социолога: перед нами исследование тех культурных условий, которые предшествуют мобилизации социального внимания институциями.

Следуя традициям классического образования, Кереньи обращается к эллинистически-римскому миру. В отличие от предшественников, например, Эрвина РODE, превозносивших классическую античность как обладающую неповторимым ароматом уникальности, Кереньи, наоборот, видит в эллинистическо-римском мире банализа-

* **Марков Александр Викторович** — кандидат философских наук, доцент, ведущий научный сотрудник Института мировой культуры МГУ имени М.В. Ломоносова. Email: markovius@gmail.com

© Марков А.В., 2012

© Центр фундаментальной социологии, 2012

цию тех уникальных смыслов, которые были открыты греческой архаикой и классикой. Но тем рельефнее на этом фоне проступает «удовольствие от культуры», как он называет творчество одного из первых римских драматургов в статье «Дух римской литературы». Удовольствие от культуры — в противоположность ницшеанской или фрейдистской неудовлетворенности культурой — строится на простом вкусе: как повар решает, добавить ли специи в какое-то блюдо, так и позднеэллинистический или римский литератор — приправить ли аттической солью римский хозяйственный опыт, или хлестким выражением — обкатанный веками сюжет.

Если переводить это на социологический язык, то мы можем сказать, что Кереньи работает с социологией вкуса, показывая, что первичным его носителем вкуса на ранних этапах развития европейской культуры оказывается экспериментатор. Это позволяет Кереньи пересмотреть многие традиционные суждения о динамичной иерархичности европейской культуры, в частности, о том, что нормативы высокой культуры распространялись сверху вниз, от интеллектуалов, способных создать когерентную структуру ценностей, ко все более широким слоям потребителей смыслов. Такая схема, экстраполирующая роль университета в городском сообществе на все развитие европейской культуры, меньше всего удовлетворяла свидетеля «кризиса культуры» и «кризиса гуманизма». Кереньи настаивал совсем на другом: интеллектуалы создают только каналы трансляции смыслов, по сути, совершенствуют письмо. Тогда как инстанцией вкуса выступает народ: действительные и потенциальные читатели. Причем, в отличие от тоталитарного конструирования народа как последнего судьи в вопросах культуры, Кереньи сохранял всегда этот горизонт культурного потенциала, не стремясь превратить только еще намечающиеся оценки и суждения в уже состоявшееся совместное переживание сплоченности.

Можно сказать, что народ как инстанция вкуса — это своего рода бессознательное европейской культуры, которое при этом никогда не трактуется как область импульсов, неподвластных разуму побуждений. В отличие от Фрейда, Кереньи выступает не как социальный стоик, а как социальный эпикурец: он говорит не о неотрефлексированных порывах, не о глубинном голосе подсознания, а, напротив, о постоянном умении этого бессознательного жить одним днем, лелея собственный выбор и любясь им.

Наши фоновые знания не вполне отвечают нуждам восприятия этого социально-эпикурейства, и тем более задачам его истолкования. Так, например, в наш канон совершенно не входит такой знаменитый филолог своего времени, как У. Виламовиц-Мёллендорф, всегдашний идеал и мысленный собеседник Кереньи. Виламовиц-Мёллендорф, начавший свою карьеру с резкого обличения ницшевской интерпретации европейской культуры, которую он счел легковесной, оставался верен себе и впредь. С позиций этого строгого филолога, даже если мы и стремимся постигать культуру путем вчувствования, его не следует переносить на прошлое, подверстывая артефакты былых времен под наши мимолетные впечатления.

Социология артефактов, стоявшая за громоздкими интерпретациями целых пластов античной литературы, через Виламовица говорила о том, что каждый из этих артефактов — сообщение, причем завершенное. Культурное человечество создает не вещи для простого употребления и коммерции, не для прямого обмена и наращи-

вания оборотов капитала, но для того, чтобы всякое последующее вчувствование, всякая эмпатия, обращенная к опыту предков, была бы комментарием этих «книг». Такое эстетическое переживание, как режим комментирования, было противоположно превращению кодифицируемого опыта современности в род социального или политического воображаемого.

Уроки Виламовица-Мёллендорфа не прошли для Кереньи зря: он выстраивает свои рассуждения по лекалам учителя, только дополняя его филологическую строгость эстетической интуицией. Виламовиц-Мёллендорф четко различал, где перед нами письменная фиксация опыта, где ученый комментарий, а где вольная вариация на этот комментарий. Литература для самого яркого филолога тогдашней Европы развивалась, развертываясь по спирали, от простого переживания реального драматического опыта до широчайшей панорамы социального бытия. Весь этот путь от эпоса и драмы к роману прошла уже античная культура, а европейская только пользовалась этими плодами, пытаясь с переменным успехом воспроизвести то напряжение социальных интересов, которое стояло за развертыванием этой спирали.

Карой Кереньи, в отличие от старшего коллеги, использует не жанровый, а исключительно социально-эстетический критерий. Если Виламовиц-Мёллендорф говорит, по сути, о генезисе жанров, каждый из которых далее существовал самостоятельно, то Кереньи обращает внимание на социальный профиль первого реципиента этого жанра. Для Виламовица-Мёллендорфа есть реальность автора и есть реальность конечного массового потребителя: именно поэтому он считал, что Европа в сравнении с античностью не создала в литературе почти ничего нового. Ведь полноценная классикализация Гомера произошла уже в эллинистически-римскую эпоху, и никакая последующая европейская не могла превзойти ту первую ни по цельности, ни по многогранности. Для Кереньи эти слова про цельность и многогранность, подменяющие действительный социальный анализ фантомами социального одобрения, уже ничего не значили. Ему важен был первый читатель Гомера — что бы он сказал, как бы объяснил Гомера, переведя и на внятный язык прозы и пересказа, и на язык природного опыта. Как и многие исследователи мифологии, Кереньи признавал, что миф привязывается скорее к ландшафту, наделяя речь безмолвные символы природы, чем к какому-либо выстроенному нарративу. Но только для него ландшафт всегда был обитаем: в нем находится человек.

Так, Кереньи сочувствует мысли Виламовица-Мёллендорфа, что Нарцисс — это не просто мифологическая метафора: в тех краях, где сложился миф о Нарциссе, эти цветы растут над источниками, проистекающими из земли в небольших прудах, а не фонтанирующими, как из трубы. Но при этом он с опаской относится к размышлениям филолога о том, что имеющийся у нас гомеровский текст может нести на себе следы «чернильных клякс» его александрийских «редакторов», готовивших книжное издание эпоса. Кереньи считает, что гомеровский эпос уже был не торжеством мифа, а его низведением на землю: если эпос начинают пересказывать герои повествования, то это уже создает минимальные условия гуманизации мифа.

По сути дела, каждое рассматриваемое произведение для Кереньи — пересказ эпоса, превращающий его мифологически-ритуальный заряд в программу действий для целой эпохи. Но для нас гораздо интереснее, когда такой эпохой оказывается

один человек — человеком-эпохой для Кереньи был Гораций, умевший празднично подать любое свое эстетическое открытие, переживая тем самым жизнь как подарок. Таким же человеком-эпохой стал для Кереньи Элиот, как первый поэт, не оставшийся в своем «возрасте», но посмотревший на «возраст поэта» как на предмет размышлений. И через этот возраст, бережное или пылкое восприятие традиции, оказываются оправданы исторические гуманисты, филологи, знатоки античности — именно они смогли оживить древние строки, вчитав в них юные или зрелые чувства. К такому путешествию, помогающему лучше понять жанровые установки разных эпох, исходя из социологических характеристик возраста, и призывает нас Керенья.

Нельзя не отметить, что в сборник вошли и многочисленные размышления о сущности праздника, влюбленности, исповеди — всего того, что европейская культура считала своим достоянием, а Керенья позволил осознать как дар всему человечеству. Если бы в книге еще не было ошибок верстки, таких как выпавшие кое-где слова и строки, а проклейка блока была бы не такой жесткой, поля не такими узкими, а в переводе не было бы выражений вроде «поддавать дальнейшему анализу» (с. 350), книгу можно было бы только хвалить.